

П Е Р Е В О Д Ы

Kundera: l'exode de la culture interview par Alain
Finkielkraut

L'Express 25 Juin 1980

МИЛАН КУНДЕРА: МАССОВОЕ БЕГСТВО КУЛЬТУРЫ

- Ф. Среди восточноевропейских писателей, эмигрировавших на Запад, вы, кажется, единственный, кто не признает термин "диссидент". Почему?
- К. У меня аллергия на современную политическую терминологию, и я ею не пользуюсь.
- Ф. Однако, складывается впечатление, что своим успехом движение диссидентов обязано в первую очередь своему названию. Сегодня это слово любят так же, как некогда любили слова "активист", "партизан".
- К. Да, слова действуют на человеческое сознание скорее магически, чем своим рациональным содержанием. Я был свидетелем предвыборных дискуссий, передававшихся по французскому телевидению: левые восхваляли социализм и отрицали коллективизм. Правые же настраивали мир против коллективизма, не решаясь критиковать слово "социализм". На самом деле, эти два слова означают одно и то же, а политики ведут себя подобно магическим-волшебникам. Они спрятались под защитой священного слова, оставив другим слово проклятое.

Однако вы правы, слова важны: каждое историческое событие начинается с борьбы за его название. Кхон-вьетнамцы, боровшиеся против американцев, были названы патристами. Афганцы, выступившие против вторжения русских, были окрещены мятежниками. В названии находит отражение мнение мира о будущем того или иного собы-

тия: патриоты вновь неизбежно овладевают своей родиной, а матежники терпят поражение.

Ф. Таким образом, вам внушает отвращение именно магический характер политических терминов?

К. Политическая мысль в состоянии охватить лишь ничтожную долю реальности. Но, оперируя современной политической терминологией, она не может даже понять сами политические события. Россия и Венгрия — страны коммунистические. Но одна из них желает подчинить себе мир, а другая — подчиняется. Режим одной поддерживается народом, в другой же — народ почти единодушно выступает против существующего режима. Политическая мысль, находясь под влиянием политической системы, относится к этой существенной разнице как к ремарке в скобках. Она не видит ничего за фасадом политической системы: ни конкретной жизни отдельных личностей, ни судеб народов, ни столкновений между цивилизациями — мусульманской, русской, китайской, западной, с их различными взглядами на человека, на мир, на время, на смерть.

Ф. Не кажется ли Вам, что в Иране наше привычные схемы — нищета, эксплуатация, борьба классов — не могут объяснить главное?

К. Разумеется, не могут. Но возьмем Европу. Я мог бы сослаться на такое свидетельство, как впечатления чехов в первый день русского вторжения в 1968 году: внутренний ужас не от сознания бессмысленности реформ Дубчека, но от того, что испытываешь, глядя на лица русских солдат, от сознания глубокого отличия от цивилизации (культуры), которая и думает и чувствует иначе, имеет свои

судьбу, живет в другом историческом времени, чтобы поглотить другую цивилизацию в своей вечности. Политические режимы переходящи, но границы культур проложены на века.

Ф. Но разве судьба Чехословакии не была решена еще за 20 лет до того, как там установился просоветский режим?

К. Конечно да. Но постепенно сама жизненная сила страны, традиции ее тысячелетней истории, истории западной начала перестраивать и изнутри изменять систему, импортированную из России.

Ф. Это то, что привело спустя 20 лет к известным реформам Дубчека?

К. В Чехословакии политики играли второстепенную роль. Лучшее, что можно сказать о некоторых из них, это то, что они искренне, но неумело следовали за движением масс. Величие 60-х годов и Пражской весны состоит не в политике (которая проявила свою некомпетентность и в конечном итоге потерпела крах), но в культуре. Не только в науках и искусствах, но в поведении народа, в его традиционной терпимости, в его юморе и независимости. Эта культура натолкнулась на импортированную политическую структуру, чтобы наполнить ее своим собственным содержанием и заблокировать. Общественные организации (синдикаты, профсоюзы, союз писателей и др.), созданные изначально, чтобы передавать в массы волю партии, эмансипировались и образовали совершенно оригинальную демократическую систему. На протяжении последних лет чешская культура необычайно развилась. На Западе, где принято считать культуру приложением к политике, никогда не

понимали того, что происходило в Чехословакии до 1968 года. Там никогда не понимали "избиения чешской культуры", которое явилось самым невероятным следствием русского вторжения 1968 года.

Ф. Говорят о ликвидации мятежной культуры, обуздании врагов (оппозиционеров). Вы не согласны в этой точкой зрения?

К. Нет. Искалечили не оппозиционную культуру, но просто культуру. То, что было важным и подлинным, должно было исчезнуть. Полмиллиона чехов остались без работы. Почти двумстам писателям, включая самых выдающихся, не только запретили публиковаться, но их книги были изъяты из публичных библиотек, их имена вычеркнуты из учебников истории. Вместо четырех десятков журналов по вопросам литературы и культуры теперь существует только один. Большого кинематографа в Чехословакии больше нет. Лучшие драматурги были изгнаны за пределы страны. История политики и культуры была написана заново: в новой истории нет места Францу Кафке, Томасу Массарику, который в 1918 году создал чешскую республику. Нет ничего, что русский тоталитаризм не мог переваривать.

Если квалифицировать 60-е годы как прогрессивное "озападнивание" социализма, импортированного с Востока, то русское вторжение 1968 года означает определенную культурную колонизацию страны западного типа. Все то, что сформировало Запад, начиная с эпохи Возрождения (да-да, того самого Возрождения, ненавистного Солженицыну): терпимость, постоянное сомнение, плюрализм мысли, персоналистский характер искусства (и человека конечно),

— все это не является временной мерой, но часть долгой, терпеливой, последовательной стратегии, которая должна переместить страну в сферу другой культуры.

Ф. Сейчас считают, будто Запад родился вместе с промышленной революцией. Капитализм или общество потребления: именно так в терминах политэкономии, принятых среди специалистов, Запад определяет себя. Для Вас Запад ведь не сводится к подобному определению?

К. Моя страна не является капиталистической, и я не думаю, что она хочет стать таковой. В то же время, это старая западная страна, и надеется таковой остаться. Запад — это общая история, это культура. Но "измерения культуры" не существует в современном мире. В забавном театре аллегорий современной политической мысли Запад предстает как колонизатор. Поэтому идея западной страны, подвергшейся колонизации, не входит в рамки существующей системы символов и остается непонятой и неприемлимой. Однако колонизации подверглась не только моя страна, но колонизирован весь Запад — Запад, который никогда никого не колонизировал.

Ф. Колонизированный Запад: вот два слова, которые образуют совершенно неслыханное сочетание. Мы настолько привыкли отождествлять Запад и Власть, Запад и Империализм, что концепция колонизированного Запада для нас кажется просто невероятной.

К. Но Запад — это и малые народы, которые не отвечают за преступления больших и имеют полное право защищать свою, западного типа, культуру без каких-либо комплексов вины.

В 1956 году директор Агентства печати Венгрии за несколько минут до того, как его бюро было разгромлено,

советской артиллерией, передал по телексу всему миру отчаянное послание: "Мы умираем за Венгрию и за Европу".

Европа же меньше всех могла понять это послание. На неокупированном Западе не понимают, что Европа еще может представлять из себя ценность, которая заслуживает, чтобы за нее умирали.

- Ф. Вы как-то писали, что Пражская весна была "народным восстанием умеренных". Это выражение воспринимается как скандальное теми интеллектуалами, для которых умеренность (или "золотая середина") равнозначна буржуазной добродетели. Только позднее левые европейцы присоединились к оценке Пражской весны как позитивного символа. Чтобы это сделать, левым пришлось придать ей лирическую ауру "майского" Парижа.
- К. Пражская весна была взрывом постреволюционного скептицизма. В период этого движения, которое явилось результатом не только весенних событий, но всех 60 годов, перестраивались жесткие схемы власти и подвергалась осмеянию лирическая демагогия идеологов. Как следствие — в Праге 60-х годов царил климат несравненно более терпимый, антидоктринерский, ироничный, веселый и независимый, нежели то, что мы наблюдаем сегодня на Западе, серьезном, лишенном юмора, подверженном доктринерству и демагогии. Это сближение не только не великодушно, но и маскирует первооснову событий. Париж в мае 68 был свидетелем взрыва революционного лиризма.
- Ф. Всякий на Западе спросит Вас, являлось ли это движение по сути своей более "левым" или более "правым".
- К. Это разделение на "левое" и "правое" не имеет смысла в условиях тоталитаризма, который отрицает плюрализм —

- левое и правое. Вот почему в Чехословакии марксисты и антимарксисты быстро пришли к согласию на основе общего сопротивления.

Часто мне кажется, что та ситуация в Чехословакии - гипертрофированный образ происходящего сейчас на Западе в целом: левые борются с правыми и наоборот, но именно их общая культура, основанная на принципах терпимости и дискуссионности, подвергается смертельной угрозе в завтрашнем мире. Все то, что я пережил в Праге, представляло для меня грандиозную демистификацию символов, которые господствуют в наше время, и отказ от терминологии, под гипнозом которой мы жили все это время.

Ф. Только Вы? Не мы?

К. Вы тоже, конечно же. Но вам не так легко избавиться от гипноза. У меня за плечами опыт сталинизма, который заставил меня понять через состояние шока, что язык - следствие идеологической мистификации. В результате - лингвистический бунт, недоверие к словам. Я никогда не скажу: "Матемики-афганцы". И всегда слишком хорошо знал эти трюки с терминологией. И не люблю говорить "советские". Что значит "советские"? Нация? Религия? Раса? И что у них общего с Советами, которые не существуют даже в их собственной стране? Это слово - ширма для того, чтобы заставить русифицированные нации забыть даже собственное название. Все зло - от принятия фальшивого слова. Начинается капитуляция. Можно идти на компромисс с людьми, но никогда со словами.

Ф. демистификация, о которой вы говорили, касалась, главным образом, Маркса?

К. Скорее духа, который является результатом повседневного марксистского языка — сведение мира к одной политике.

/.../ Любопытно, что это словесное марксистское наследие правые применяют с неменьшим рвением, чем левые.

Спустя месяц после русского вторжения 1968 г. я приехал в Париж, где только что вышел "La Plaisanterie" ("Шутка"). Я обедал с одним известным интеллектуалом, которым искренне восхищался как автором статей об оккупации моей родины. Он несколько удивился, когда узнал, что я собираюсь вернуться через несколько дней на родину. По его мнению, это было смело. Он задал мне один странный вопрос: "В Чехословакии есть леса?" "да, есть", — ответил я. "Тогда, в конце концов, вы могли бы жить в лесу. Наши партизаны тоже жили в лесу во время немецкой оккупации".

Я не знаю, до какой степени вы можете наслаждаться нелепостью его мысли. В то время дубчек все еще был у власти, хотя и непрочной, и мы хотели остаться в стране, чтобы поддержать ее, а не бежать в лес. И все же мысль о том, что в маленькой Чехословакии, перенаселенной, оккупированной армией и полицией русских, сопротивление могло сформироваться в лесу — эта мысль была результатом невежества, просто невероятного со стороны человека, который преподавал мне много политических уроков о том, что происходило с нами и в чем был смысл происходящего. Одно из лирических заблуждений нашего времени — уверенность, что политические дебаты ведут непосредственно в сердце реальности. Это не так. Современная политическая мысль — это новая башня из слоновой кости.

Ф. Но эта башня из слоновой кости является в то же самое время и башней власти.

К. В том-то и состоит все несчастье. Истинные проблемы планеты (проблемы питания, демографического взрыва, природы, неконтролируемой техники, культур и их взаимодействия) остаются незатронутыми, в то время как псевдопроблемы (доктринерские, идеологические), фабрикуемые в этой башне, овладевают миром. Таким образом создается впечатление, что находишься во власти фальшивой истории, основанной на фальшивых проблемах, в то время как истинная история остается в стороне, забытая и нереализованная.

Ф. В будущем может мобилизовать не лозунг "изменения мира" (Маркс), но проблема, конечно, более конкретная и узкая — проблема "права на...": права на аборт, на отказ от строительства ядерных заводов, на улучшение условий труда; права для студентов-иностранцев учиться во Франции...

К. Во Франции, может быть. Но даже во Франции, если сегодня выступают за "право на...", это делают с таким же пафосом, как если бы выступали за какую-то важную перемену. Все, что осталось от марксизма и останется еще на долгое время, — это не рациональная мысль Маркса, но система символов, которая существует как архетип, подсознательно — поэтому не так легко от нее избавиться. Существует известный термин — "классовая борьба". Это, с одной стороны, констатация социального факта, с другой стороны, осквернение глагола "бороться". Можно легко пренебречь "классовой" борьбой, но не "борьбой" как таковой. Сам этот термин стал "ценностью" в том смысле, что именно в "борьбе" мир видит смысл своей жизни: жен-

щины борются, линеисты борются, борются за право на самовыражение, идеологическая борьба пришла на смену дискуссии. Теперь люди борются задницами, сидя на скучных собраниях. Лирическая аура, окружающая слово "борьба", приносит в значение этого слова момент агрессивной иррациональности и неадекватности.

В Праге члены Хартин 77, жестоко гонимые властями, тщетно стараются заставить правительство пойти на дискуссию с ними. Западные интеллектуалы отказываются разговаривать со своим демократически избранным правительством, потому что они "борются".

Ф. То, что вы говорите, напоминает мне речь некоего молодого человека, произнесенную на похоронах Сартра и ярко переданную одним журналистом: "Мы никогда не читали его книг. Но мы знаем, что необходимо продолжить его труд, надо надеяться, бороться. Бороться как? Никак: просто бороться. В условиях чрезвычайных ничто не идет в расчет — даже чтение книг того человека, которого якобы почитают..."

К. Марксизм является грандиозной попыткой объяснить мир с точки зрения разума. Потерпев поражение, он, взяв лиру, спустился, подобно Орфею, чтобы превратиться в систему символов, в поэтическое произведение, в красоту. Строфа из этого стихотворения загниотизировала весь 20 век: мысль о том, что "время человека" делится на 2 периода: 1) предистория (царство необходимости, в котором человек находится во власти непознанных законов) и 2) истинная история, которая начинается с пролетарской революции (когда Человек становится, наконец, хозяином своей судьбы). На протяжении полувека человечество жило

под гипнозом этой идеи — такой красивой, такой чарующей. Весь художественный авангард с его мечтой о полном разрыве с традицией рожден под солнцем этой грандиозной картины, нарисованной Марксом.

Но шутки Истории коварны: в период предистории человек и народы еще имели какую-то возможность свободно распоряжаться своей судьбой. Зато начиная примерно со времени Октябрьской революции, человечество вступило в эпоху детерминизма и всеобщей зависимости.

- Ф. Несколько раз Вы произнесли слово "лирический" в негативном контексте. И в этом, мне кажется, состоит ваш совершенно оригинальный вклад в критику тоталитаризма. Ибо до сих пор эта критика развивалась в двух направлениях: 1) критика практики тоталитаризма во имя истинных принципов коммунизма, 2) критика самой коммунистической философии, как тоталитарного чудовища. Троцкий или Солженицын. А Вы, Вы утверждаете: в тоталитаризме существует какая-то "поэзия" тоталитарности. В романе "Жизнь существует в другом месте" Вы писали о сталинизме, как о времени, когда "поэт царствовал наряду с палачом". "Новые философы" усматривают корни Гулага в трудах Фихте и Гегеля, а Вы — в поэзии?
- К. Никакая цивилизация и никакая идеология не имеют монополии на тоталитаризм. Его корни в антропологии. Каждый знаком с тоталитарной практикой социальных микрокосмов (в семье, в армии), каждый из нас ощутил на себе тоталитарные тенденции. Мечта об обществе, где все одушевлено единым желанием, одной верой, где ни у кого нет секретов от общества — вот тот архетип, который мы обнаруживаем как в религиях, так и в каждом из нас. Андре Бретон прославляет стеклянный дом, где все частное

— есть общественное. Франц Кафка создал мир, где К. утрачивает "интимность": за ним наблюдают, его преследуют даже в постели. Уничтожение частного (интимного) у Бретона и есть рай, у Кафки же "рай" скорее похож на "ад". Но в обоих случаях мы наблюдаем две стороны одного и того же архетипа, содержащего черты и рая и ада. Я ставлю в упрек критике тоталитаризма то, что тоталитарность рассматривается только как зло. Такая критика оставляет в стороне всю "поэзию", не только связанную с этим злом, но и являющуюся его постоянным источником. Осуждая Гулаг, новый "стеклянный дом" ищут в другом месте. Но если он будет найден, то снова могут появиться те, кто не захочет там жить. Тогда придется в стороне соорудить для них новый маленький лагерь. Тоталитаризм — не просто Гулаг, это — идиллический хрустальный дворец с Гулагом по соседству.

Тоталитаризм является продуктом маниакальности, его проповедники — ангелы, а не дьяволы. Поэтому я не доверяю тем "чистым", кто критикует дьявольскую сторону тоталитаризма и забывает об ангельской.

Со времен романтизма, особенно сюрреализма, понятие "поэзии" стало священной ценностью. Но любая человеческая позиция обладает двусмысленной сущностью. Промисл, герой романа "Жизнь в другом месте", доносит в полицию на свою подружку, действуя не как дьявол, но как ангел, в порыве подлинной лирической экзальтации. При этом ему кажется, что таким образом он поднимается над самим собой, отождествляется с чем-то, что гораздо

больше его самого. Поль Элюар всенародно и торжественно одобрил смертный приговор своему другу Завису Каландре, чешскому сюрреалисту. Он сделал это со всем пафосом архангела поэзии.

Ф. Но ведь его устами вещала не поэзия, а скорее партия, не правда ли?

К. Смертоносное послание Элюара связано со всем его творчеством того периода — с поэзией, которая прославляла мир, будущее, ангелизм хрустального дворца, общества из мечты. Тоталитаризм 50-х годов был не просто гнетом. Не казнями он привлекал к себе массы, молодежь, интеллигенцию, но своей улыбкой. Сегодня забывают это, сегодня стыдятся этого. Стыдно сказать: кровавый тоталитаризм 50-х носил в себе поэзию, перед которой мы не смогли устоять. Обвиняя Гулаг — оправдываются. Поэтизируя тоталитаризм — оскандаливаются.

Ф. Было ли известно в то время в Чехословакии о приговоре Элюара?

К. Зависа Каландру повесили в 1950. За несколько дней до казни Элюар оправдывал ее. Именно тогда я впервые увидел Константина Вибла, великого чешского поэта-сюрреалиста. Именно он рассказал мне с ужасом в глазах эту историю с Элюаром. Год спустя, Вибл, будучи не в силах выносить сталинский гнет, выбросился из окна. В 1952 г. я опубликовал первое мое стихотворение "Памяти Константина Вибла", с которого и начинается мой долгий спор с ангелами и чистыми. В 1978 г. я вернулся к истории Элюара и Каландры в романе "Книга смеха и забвения". Именно поэтому меня лишили гражданства. Кольцо сомкнулось.

Ф. Таким образом, Константин Виби был для Вас другим идеалом поэта, анти-Элюаром?

К. Виби, будучи также коммунистом, писал стихи примерно в том же духе, что Элюар. Но только ужасный и непосредственный опыт человека, жившего в Праге в то время (в отличие от Элюара) разбудил и раздавил его. Поймите меня правильно: я вспоминаю эту историю не для того, чтобы как-то очернить Элюара, а чтобы лучше разобраться в том неизвестном, которое называют "лирическим измерением в человеке". Писателя интересует не История, но состояние человека, скрытое под маской исторической обстановки.

Ф. Вы, таким образом, показали, что лирический энтузиазм является составной частью тоталитарного зла. Но в "Прощальном вальсе" ("La Valse aux adieux") именно Якуб, скептик и мудрец, совершает странное преступление.

К. Якуб — скептик. Он знает, что гонимые могут стать гонителями, и что эта перемена ролей легко предствима. Он не может любить людей, т.к. много повидал на своем веку. Но стоило только его разуму на секунду отключиться, и бессознательное стращение к человеку, сдержанная ненависть вырывается наружу: в результате умирает невинная девочка.

Ф. Сегодня, мне кажется, интеллектуалы склоняются скорее на сторону Якуба, чем Яромилы. Они подводят итог своим разочарованиям и заявляют, что никогда больше к ним не вернутся. Но Якуб не считает себя героем, тогда как нынешние скептики вносят в свое новое неверие все тот же дух системы, который одушевляет их древнюю религию.

К. Есть те, кто машет кулаками, принимает все всерьез, может ради святого дела принести в жертву жизнь другого

человека. Есть так же и те, кто наблюдает за ними и не видит в чужом возбуждении ничего, кроме бессмысленной, ничего не значащей, пантомимы. К последним относится Икуб. Вы помните, что он испытывает ощущение невыносимой легкости всего, включая преступление. Таким образом. Вы видите, что обе крайности (лиризм и скептицизм, ангелизм и дьяволизм, серьезность и несерьезность) становятся при определенных обстоятельствах пособниками смерти. У человека нет возможности избежать этого соучастия.

- Ф. Но, на мой взгляд, "меланхолический атеизм" Икуба Вам лично близок. "Смешные амурь", роман, написанный еще в Праге, словно погружен в меланхолию. Ваши ничего не принимающие всерьез герои живут в мире красивых приключений, как будто радость их эротической жизни основана на скепсисе.
- К. В Праге эротический климат более интенсивен, чем здесь. Там эротизм стал единственной областью свободы, единственным средством самовыражения. Политика со своей бесконечно ничтожной серьезностью действует как вакцина. Люди разучились принимать всерьез серьезное, и под прикрытием официальной морали царствуют гедонизм и легкомысленная мудрость. Вы улыбнетесь, но когда я покидал Чехословакию, мне казалось, что я покидаю эротический рай, подобного которому я никогда и нигде не найду. Здесь эротическая жизнь гораздо более условная и канжеская (нечто более связанное); семья здесь гораздо прочнее, несмотря на фасад декларируемого морального либерализма. Этот либерализм очень мало похож на гедонизм. Он сродни идеологии. Он демонстративен, раздражающ, словесен. Удовольствие здесь больше рассматривают как девиз, программу,

концепцию, меньше находят его в жизни.

Ф. Все, что Вы говорите, снова заставляет меня думать о Якубе. Не покидает ли он страну, как и Вы, с чувством сожаления и одновременно облегчения?

К. Я написал этот роман как бы вопреки самому себе. Когда я закончил роман, у меня и мысли не было о том, чтобы уехать из Чехословакии. Якуб — не мой автопортрет. Но верно то, что его скептицизм мне лично гораздо ближе, чем вера его соперника. Однако во время работы над текстом, Якуб стал более проблематичным, его антагонист — более цельным. Но крайней мере, я верю, что так и должно быть, когда пишут романы. Если роман удался, то он будет гораздо мудрее своего создателя. Вот почему многие прекрасно образованные французы пишут посредственные романы. Они всегда остаются умнее своих книг. Но роман либо превосходит автора, либо он — ничто.

Когда Толстой начал писать "Анну Каренину", он хотел осудить эту женщину, нарушившую клятву супружеской верности. К счастью, мудрость романа бесконечно превзошла мудрость автора.

Ф. Вы говорите о мудрости романа. Значит, роман для Вас больше чем жанр?

К. Романическая игра состоит в создании персонажей. Значит через противопоставление различных систем ценностей, различных мировоззрений можно воссоздать относительность человеческого мира, относительность драгоценную, загадочную, чудесную, постоянно отрицаемую любимым идеологическим сознанием и его уникальной истинностью.

Ф. Стало быть, Вы утверждаете, что роман не может служить какой-либо истине, которая больше его, значительнее?

К. И никогда не писал, имея в виду такую истину.

Ф. Я мог бы напомнить Вам фразу Андре Жида: "Я постоянно думаю, что, когда надвигаются великие события, стыдно заниматься литературой".

К. Это — известный комплекс в среде людей культуры по отношению к политике.

Ф. У Вас нет такого комплекса?

К. Отчего бы появиться такому комплексу? мои книги запрещены от Эльбы до Тихого океана. Ничто, кроме гонения, не может излечить от такого комплекса. Я хотел бы перефразировать Жида: когда надвигаются великие события, совершенно необходимо продолжать жизнь, сохраняя ее полную независимость. В противном случае, машина политико-идеологического укрощения, которая в эпоху "великих событий" вертится с громадной скоростью, раздавит вас.